



НИНА ХЕЙМЕЦ

ПЕРЕКРЕСТОК ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ



Нина Хеймец
Перекресток
пропавших без вести
Серия «Миры Макса Фрая»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65478327

Аннотация

Это книга исчезновений и исчезнувших. В ней также есть встречи с теми, кого не надеялись увидеть, есть письма, дошедшие до адресатов, есть путешествия, сыщики, ветер из пустыни и сухие колодцы в ней же. В книге 48 историй. Все они – попытка рассмотреть ткань событий в разных ее сплетениях и сочетаниях. Исчезновения – один из элементов этой ткани, возможно, дающий о ней более полное представление.

Содержание

Синева отовсюду	4
Массаж сердца	8
Немного плотнее воздуха	13
Хроника ключевых событий	23
Три выстрела	29
Нужен воздух	37
Смещение	42
Соединение	46
Вертолет	50
К теории некоторых изменений	55
Происшествие с Шаулем Азулаем	61
Орден черной утки	69
Вещи Фриды	73
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Нина Хеймец Перекрёсток пропавших без вести

Синева отовсюду

Касаются гладкие и теплые. Касаются шершавые. Сжимают, хлопают, катят, ставят, хлопают. Касаются.

– ...ши, ну и уши. Из апельсиновых корок. Игаль, ну ты даешь! Ты когда-нибудь видел снеговика с такими-то ушами?

Смеются. Что-то ухает, и на дне этого звука другой – скрип. Шаги? Да, это и есть *шаги*. Тонкий свист, переплетение с другим свистом. *Птицы*. Низкий звук, будто внутри себя разрывается. *Мотоцикл*. Звонки, сирена, шаги, говорят. «Да, я в центре. Нет, автобусы не ходят. У нас же снег! Снег!» «Слишком сильное лекарство». «Мы увидимся?». «Надела шапку, а она – будто на другую голову».

– Глаза ему вот из этих камешков сделаем. Смотри.

Два пятна проступают на белесом фоне. Сначала почти незаметно, а потом красное, синее. Потом руки, лица. Наклоняются ко мне. Смотрят.

– А это будет рот.

Держит веточку. Ломает ее на кусочки, касается меня, надавливает пальцами.

– И нос!

Достает из кармана куртки желтый кружок. На нем буквы, я различаю надпись: *Fanta*.

Пахнет мокрым асфальтом, нагретым мазутом, корицей – из кондитерской слева от меня.

Отступают от меня на шаг, разглядывают, хохочут.

– Игаль, Рон, куда вы пропали? Пойдемте домой!

Теперь вижу перекресток. Снова идет снег. Прохожие кутаются в шарфы. Улицы, небо, их одежда – все становится белым. Сквозь белое медленно скользит светящийся трамвай.

Смотрю на окна, на опустевшую улицу. Далеко впереди, над крышами, серая птица борется с потоком ветра. Снежинки падают мне на глаза. Дом напротив начинается с четвертого этажа. Прохожий машет рукой, делает шаг навстречу кому-то и исчезает в непрозрачном.

Потом снег закрывает мне лицо. Наступает ночь. Очень светлая. Снеговикам веки не полагаются, но мне повезло.

Синева отовсюду. Линии сходятся под новым углом. Дома наклонились, касаются друг друга. Рельсы трамвая уходят вверх. По моей голове текут капли воды. «Мама, смотри, снеговик улыбается!» Веточки рта тоже, получается, сместились. Глаза просохли на солнце, все видно очень четко. Угол продолжает меняться. Дома срослись крышами, как си-

амские близнецы. Человек в плаще с оторванными пуговицами оборачивается на звук своего имени, но за ним никого нет. Бродячая собака проходит сквозь стеклянную дверь кондитерской и стоит, оглядываясь.

Капли стекают с головы на землю. Я слышу визг тормозов и вижу, как блестящий бок автомобиля огибает закутанную в платок женщину, ее не касаясь. Вздох ужаса в толпе на остановке достанется подростку, взлетающему на маленьком акробатическом велосипеде в самое небо и исчезающему за горизонтом.

Солнце приближается, заполняет все собой. Я вижу его и вижу улицу, которая потом. Раннее утро. На перекрестке безлюдно. Я замечаю на асфальте два черных камешка, рядом желтая крышка от фанты и несколько веточек, по бокам две набухшие от воды апельсиновые корки. В этих широтах снег тает так быстро, что, кроме него, ничего не успевает исчезнуть. Я знаю, что именно в это мгновение я могу увидеть всё: все линии, которые были мне недоступны, все события, которые уже произошли и произойдут потом, – все они случаются сейчас, перед моими глазами.

Я смотрю на желтую крышку. Через час ее подберет сумасшедшая старуха, местная достопримечательность. Старуха носит огромную соломенную шляпу, украшенную гирляндами из лопнувших воздушных шариков, и шлепанцы, как у Маленького Мука, которые ей, по доброте душевной, подарил на базаре один торговец, родом из Исфахана. Перед со-

бой она катит тележку – фанерный ящик на каркасе от детской коляски, украшенную наклейками, птичьими перьями и такими вот пластмассовыми крышками самых разных цветов. Старуха заметит желтую кругляшку, поднимет ее, спрячет в рукаве и покатит свою тележку дальше, вдоль рельсов.

Солнце касается меня.

Массаж сердца

Так, как Павлик, не поступают. Так, как Павлик, не живут. Живут – если не так, как Павлик.

Играли в Павлика. Сколотили из фанерных листов ящик, привязали его к остоу от детской коляски. Антон надел хоккейный шлем, Таня – строительную каску, дедовскую, а у меня ничего не было. Неслись в ящике с холма, будто это Павлик на своем грузовике, в тот самый вечер. В лицо нам летели кусочки щебенки, комки глины, семена сухой травы, мелкие ракушки; солнце оказалось прямо на уровне глаз, так что их было не открыть. Потом стало тихо – одна секунда абсолютной тишины, когда грузовик подскочил на колдобине – и мы упали. Когда мы с Таней выбрались из-под коляски, Антон сидел рядом. Шлем на его голове раскололся. Одно из колес докатилось до озера и исчезло в нем – точно как Павлик.

Вечерами ходили к тому дому, смотрели. В свете луны дорога была белой, уводила за поворот, прямо к нему. Таня сказала, что дальше идти так, как мы ходим, – опасно. Мы ползли по-пластунски – до калитки, за которой были ветки, затерявшаяся в траве бетонная дорожка, закрытые ставни. Однажды, добравшись до поворота, мы слышали голоса. Я приподнялся, но Таня прижала мою голову к земле: «Ты с ума сошел?» Дорога пахла дождем. Глядя снизу, я все же

увидел освещенную террасу. Там были люди, они смеялись, кто-то заиграл на гитаре. Как будто не подступает к стеклам темнота, как будто не выходит на улицу Павлик, не заводит мотор, будто не летит, разогнавшись, в холодное озеро на грузовике с красными огнями. Как будто воздух, в котором больше нет Павлика, не скручивает его дом, не меняет линии, не заставляет одни предметы проступать сквозь другие – берешь в руки книгу, а видишь уходящий от станции поезд; смотришь на часы, а видишь велосипед, брошенный на дороге – переднее колесо еще вращается.

Прятались в секретном наблюдательном пункте, за водокачкой, пытались понять, что же все-таки тогда произошло. Таня говорила, что Павлик случайно узнал чью-то тайну, очень страшную, и не мог её выдать, но и жить с ней – тоже не смог. Может быть, его с кем-то перепутали. Скорее всего, так и было. Кто-то догнал его на вечерней улице, незаметно положил в карман пальто пакет. Павлик, ни о чём не подозревая, его потом открыл, а там – координаты, позывные, чертежи оружия, от которого на нашей планете вообще ничего не останется, одна пыль. Ну и вот. Или встретил незнакомцев. Они ему: «В карты не хотите ли?» Он согласился, сначала совсем немного проиграл, не обратил внимания, не расстроился даже, а потом всё больше и больше и больше, пока другого выхода не осталось.

Играли в дурака, подкидного и переводного. Антон раз за разом оставался без козырей, проиграл три кона подряд.

Решили, что он на надувном плоту поплывет к тому месту, где утонул грузовик, и будет нырять. Машину, правда, давно вытащили, но какие-то предметы все же могли остаться там, на дне. Если их достать, можно будет восстановить картину случившегося. Зашли к Тане домой за плотом, накачали его велосипедным насосом, понесли к озеру. Спустили плот на воду, но Антон вдруг заплакал. Говорил, что простужен и не умеет плавать. Мы ничего ему не отвечали, потому что проиграл, значит проиграл. Но потом Таня вспомнила, что есть же другой способ всё понять про Павлика, гораздо более действенный; такой, что узнаешь самую суть. Если узнаёшь суть чего бы то ни было, проникаешь в сердце мира. «Только, – предупредила она, – после этого уже ничто не будет прежним. Надо решить, готовы ли мы». Мы были готовы, даже Антон.

– Дело в том, – сказала Таня, – что Павлик однажды всё про себя рассказал. Закопал себя в саду, как секретик. В смысле закопал коробку, а в ней – самое важное про него. Коробка точно была – Таня сама слышала разговор об этом на улице, случайно. Видимо, приятели его вспоминали. Оставалось только её найти. Мы пошли к Антону, взяли лопаты. Смеркалось, предметы вокруг нас теряли цвет. От поворота опять ползли по-пластунски. Я представлял, что лопата – моё копьё. В саду было тихо. Окна террасы снова были закрыты ставнями. Правда, калитка оказалась открыта. Это нам очень помогло. Решили копать у заброшенной беседки.

Мы выгребали землю из ямы руками, переворачивали комья, из которых вылезали червяки, росли белые корни. Ничего. Попробовали искать у крыльца – тоже не нашли. Уже собрались уходить ни с чем, но тут Таня посмотрела внимательно на дом и сказала: «Вот тут наверняка была его комната. В это окно он и смотрел. И коробку здесь зарыл, чтобы всегда видно было». Присмотревшись, мы увидели, что в земле под окном Павлика было небольшое углубление, заросшее редкой травой. Мы стали копать, и точно! Буквально через полминуты лопата коснулась чего-то металлического. Круглая жестяная коробка. На крышке какие-то башни, река, всадники. Мы отчистили её от земли; медленно, стараясь ничего не нарушить, передавали из рук в руки. «Ну что, открываем?» – сказала Таня. Внутри оказались три плоских камешка, большая гайка, осколок синего стекла, рыболовный крючок, две почтовые марки, кусок коры какого-то дерева и – самый странный предмет – бусы из мертвых ос и земляных шариков: мы раньше никогда таких не видели. Я держал в одной руке крышку, в другой – коробку. Невидимая субстанция, которую не мог рассеять касавшийся её воздух, соединяла все эти предметы, но никто из нас не представлял себе, как именно. Так хирург в операционной дотрагивается до открытого сердца холодными щипцами и направляет в него разряд тока. Он знает, что делает, но не знает, что будет дальше. Я нащупал в коробке бусы. «Не надо!» – крикнула Таня. Моя рука дернулась, палец пронзила боль. Я забыл, что

мёртвые осы всё ещё могут жалить. Я вернул в коробку сухое
осиное жало. Мы закрыли её, закопали, засыпали листьями.

Что-то изменилось.

Немного плотнее воздуха

Конечно, все помнили Гершона; конечно, каждому было что о нем рассказать. Ноам так и называл эти моменты: «время Гершона» – пауза в разговоре, за окном футбольный мяч отскакивает от асфальта и врежется в металлическую сетку ограды, кто-то набирает скорость на мотоцикле, давно бы пора свет включить, и этот теряющий прозрачность воздух такой зыбкий, что лица в нем идут ночной рябью, тлеют зернистым шумом. Сидишь и смотришь, как темнота отъедает в них точку за точкой. «А дверь Гершона? Скажите, а? – И кто-то смеется, кто-то нащупывает в кармане сигареты, кто-то щелкает выключателем. – Да разве забудешь такое?»

Двери, собственно, и не было. Гершон ее кирпичами заложил и отштукатурил. Мол, друзья к нему и так придут, а остальное его не касается. Гершон жил на первом этаже: перелез через подоконник – и вот ты уже у него в гостях: среди табуреток-инвалидов, невымытых сковородок, пожелтевших газет с неровно обведенными зеленой шариковой ручкой объявлениями: «срочно требуются крановщики», «уроки китайского недорого», «участки земли в дюнах, разрешение на застройку, без посредника». Ноам читал эти объявления и пытался понять, что за человек Гершон, какова его логика. Но логики в них уже не было, как не было и Гершона – все, чего он касался, все, что он о себе рассказы-

вал, сразу же переставало иметь к нему отношение, отсыхало, лишалось внутренних связей, как муравейник, из которого один за другим ушли все муравьи. Ноamu иной раз казалось, что откровенность Гершона – способ скрыться, уйти из обстоятельств своей жизни, оставить их, слой за слоем, свестись к бесцветной точке, едва отличимой от обступившего ее воздуха. С дверью, кстати, все получилось, как Гершон и задумал. «Где тут у вас квартира номер два? – спрашивали человека в окне первого этажа почтальоны, коммивояжеры, представители газовой компании, полицейские – соседи в доме напротив жаловались на шум. – Квартира номер один есть, и номер три – вот она. А номер два куда делась?» «Нет такой квартиры», – твердо отвечал Гершон, глядя им в глаза. Они не сразу верили ему. Заглядывали в подъезд еще раз – там ровная стена, шумно переговаривались с кем-то по рации, но потом все-таки уезжали.

«А как Гершон в гости приходил? Забыли?» Не забыли мы, ничего мы не забыли.

Самый разгар вечеринки, когда все уже предоставлены сами себе, играет музыка – проигрыватель с пластинками, кстати, подарок Гершона. Сказал, что нашел их на центральной автобусной станции. Мол, полно народу, все куда-то едут, а он видит – на скамейке стоит коробка с надписью на трех языках, крупным почерком с нажимом на закруглениях: «Умоляю, позаботьтесь о них». Каким-то чудом еще не вызвали саперов обезвреживать подозрительный предмет, а

может, они уже даже были в пути. Ну и вот: *Chicago Pompers, New Orleans Stompers*, мы и танцуем. Гершон приходит – ни стука в дверь, ни звонка, ни «здравствуйте». Тот, кто его замечает, в первый момент не понимает, что происходит: Гершон то в комбинезоне маляра, в заляпанных разноцветной краской бутсах и брезентовой панамке, то, наоборот, в белом костюме, соломенной шляпе и в парусиновых туфлях, – Ноам уверен, побеленных зубным порошком. Запах ментола разносится по всей квартире. «Где он раздобыл этот зубной порошок? – думает Ноам. – Наверное, чье-нибудь наследство вынесли на улицу, а Гершон, конечно же, шел мимо».

Однажды дошло до того, что Смадар уронила поднос с пустыми бокалами – все вдребезги. Она зашла в комнату, а там – клоун. Он стоял спиной к окну. Был закат, лучи солнца просвечивали сквозь рыжий парик, проникали сквозь широкие рукава рубахи, подчеркивали огромные помпоны на башмаках, только лица видно не было – вместо него серая, подрагивающая тень. Гершон потом извинялся, суетился, старательно собирал осколки, даже двигал мебель. Сквозь полуоткрытую дверь Ноам видел круглую рыжую шевелюру с прикрепленной к ней крошечной синей шляпкой, то выглядывающую из-за спинки дивана, то склонившуюся над полом в поисках оставшихся на нем стекляшек. Гершон отворачивал голову так, чтобы никто не увидел его лица. Плечи его мелко тряслись. Казалось, еще немного, и он лопнет от хохота.

Но в тот вечер все было иначе. Гершон пришел как все остальные гости и одет был совершенно обычно. То есть, для него как раз нехарактерно, конечно – синие джинсы, вылинявшая на солнце футболка, кроссовки. Стемнело, все вышли на балкон. С моря дул ветер, разнося в клочья застоявшуюся за несколько дней жару, срывая ее с деревьев, домов, человеческой кожи – как старую афишу. Мы смотрели на полосу темноты, еще только угадывающуюся за плоскими крышами. Скоро она расширится, захватит все небо, проглотит облака, скроет некрупные звезды, но мы останемся в ней, будто мы неуязвимы, будто наши тела слишком плотны, чтобы поддаться ей и исчезнуть. Потом мы вернулись в комнату, зажгли лампы, смотрели, как бьется в окно прозрачная ночная бабочка. Пора было расходиться по домам. И тогда Смадар спросила: «А чей это телефон тут на столе? Кто его забыл, признавайтесь». И сама же засмеялась, потому что такой телефон мог быть только у одного из нас, и мы все знали, у кого именно: допотопная черная «Нокия», размером чуть ли ни в локоть; две пластиковые клавиши сожжены, как кнопки в ненадежных лифтах нашего детства. Вдобавок, динамик телефона был перетянут ядовито-розовой изолентой, а внизу корпуса акриловой краской было надписано корявыми буквами: вкл, выкл. Телефон был, но его хозяина, как выяснилось, не было. Никто не знал, когда он успел уйти. Смадар даже распахнула окно и несколько раз крикнула во двор «Гершон! Гершон!» Но он, видимо, уже был далеко и

ее не слышал.

Забеспокоились дня через четыре. У Ноама был день рождения. Гершон такого случая ни за что не упустил бы. Явился бы с подарком – купленной у старьевщика колбой с каким-нибудь несчастным заспиртованным кузнечиком, или найденной им за городом окаменелостью – застывшим миллионы лет назад моллюском, очертания которого странным образом напоминали бы лицо именинника. Но ничего такого не произошло. И через неделю, когда собирались на крыше у Гиля, он тоже не появился, хотя Ноаму даже пару раз казалось, что он видит его, там, среди нас – в турбине и с кальяном на посеребренном за время зимних дождей пластиковом столике или в оставшемся в наследство от прежних жильцов поролоновом кресле, в надвинутой на глаза кепке окраинного дилера. Но нет. На следующий день Ноам пошел к нему домой, стучал в окно. Никто не ответил. Ноам старался заглянуть внутрь, увидеть сквозь дневное стекло гершонову комнату. Ее содержимое при таком освещении выглядело тусклым, плоским, но, вроде, все было на месте. Обратились в полицию. «Гершон всегда в городе, всегда, вы понимаете?» – втолковывал Ноам сонному дежурному. Всегда среди нас, всегда одного и того же возраста, с одной и той же полуулыбкой. Сколько ему лет, кстати? Когда мы с ним познакомились? Мы пытались восстановить события, но ничего не выходило, и все только еще больше запутались. Как бы там ни было, полиция провела проверку – в больницы не по-

ступал, страну не покидал, камерами наблюдения не зафиксирован. «Мне это не нравится», – повторяла Смадар, и нам нечего ей было возразить, как бы мы ни хотели.

Телефон зазвонил вечером. Сначала мы не поняли, кому из нас звонят, да еще таким рингтоном – ретро двадцатилетней давности. Потом сообразили, что звук доносится с балкона, где в тот момент никого из нас точно не было. Бросились туда, и действительно, телефон был там – в ящике старого буфета, где Смадар хранила бутылочные пробки, английские булавки, плоскогубцы, кусочки канифоли и прочую нужную в доме мелочь. Никто не мог сообразить, как он там оказался, но это было не главное. Телефон звонил все громче; на зеленом экранчике высвечивалась надпись: «абонент неизвестен». Это мог быть только Гершон. Где ты пропал, Гершон? Скажи нам, что все с тобой в порядке, Гершон! Але, Гершон?

– Але, Гершон? – старушечий голос звучал очень четко. Где-то далеко на его фоне слышались слабые потрескивания, пощелкивания, жужжание – как будто тысячи разговоров наложились друг на друга, перестав быть различимыми.

От неожиданности Ноам отстранил трубку от уха.

– Где ты пропадаешь? – доносилось из аппарата.

– Я не... – Ноам откашлялся, – его... Гершона... его здесь нет... сейчас.

– Ничего не слышно! Але! Гершон? – фон приблизился, помехи теперь расщепляли голос, будто пожелтевшую фото-

графию превратили в звук, а она вся в трещинах, вся в пятнах, и ничего не разобрать.

Сели батарейки. У Гиля нашлась зарядка от «Нокии» – сохранилась каким-то чудом. Решили оставить телефон включенным. Если звонят Гершону, то и он сам, наверное, сможет выйти на связь.

Старуха перезвонила через два дня. Снова «абонент неизвестен». Ноам как чувствовал, что это она. Не хотел подходить к телефону. Что он ей скажет? Да что бы и ни сказал, та, похоже, ничего не расслышит. Но потом он подумал про длинные гудки в трубке. В тот момент он был уверен, что они достигают человека, где бы он ни находился: в разреженном воздухе, под слоями почвы, в водной толще, даже если телефон совсем в других руках, даже если он давно разобран и абонента больше не существует, даже если в номере телефона была ошибка – соединения действительно не происходит, но одна волна проходит сквозь другую. Звонок не прекращался. Ноам снял трубку и сказал: «Это не Гершон. Его здесь нет».

– А где он?

– Я не знаю.

– Говорите громче.

– Он, наверное, уехал. Я не знаю... мы не знаем куда. Не зна-ем.

– Это не опасно? Ничего не слышу.

– Не опасно! Не должно быть опасно!

Ему не отвечали, в динамике снова что-то пощелкивало. Помехи становились все более ощутимыми.

– Он уплыл, – крикнул Ноам в трубку, – уплыл в Грецию, а телефон забыл. Устроился на грузовой корабль механиком. Никогда ничем таким не занимался, но убедил капитана, что на месте разберется. Штудирует там сейчас пособия, моторы изучает, времени-то особо нет.

– Он доволен? – голос прозвучал неожиданно громко, будто из соседней комнаты. Как если бы на темную ткань положили пожелтевшую фигурку из слоновой кости – чтобы удобнее было рассматривать.

– Очень! Очень доволен!

Потом был звонок через неделю. Трубку снял Гиль. На-стала его очередь.

– Гершон уже в Италии! В Италии! С кораблем покончено, кому охота в трюме сидеть. Он встретил приятеля, а у того, представляете, детективное агентство. Специализируются на запущенных случаях.

На Гиля зашикали. Мы-то знаем, что Гиль не пропускает ни одного полицейского сериала, но старую женщину зачем зря волновать?

Но Гиль, видимо, так увлекся, что уже не обращал на нас внимания.

– Он первое же порученное ему дело сумел распутать! Убийство в запертой комнате. Там оказалась целая система

зеркал, и одной из стен на самом деле вообще не было, представляете?

– Это не опасно?

Гиль посмотрел на нас.

В следующий раз к телефону подошла Смадар.

– Гершон в археологической экспедиции! – кричала она в трубку, – подводная археология, очень перспективное направление. Они погружаются на батискафе, а там – статуи всадников, фасады зданий, надписи, которые пока никто не смог расшифровать.

– Это не опасно?

– Совершенно не опасно! Все продумано до мелочей!

Снова помехи на линии. Старуха тут же перезвонила, но ее слов было не разобрать. Голос растягивался, как бывает с поющими плюшевыми игрушками, когда в них садится батарейка. А потом все замолчало. Кнопки перестали реагировать на нажатие.

Смадар стояла с выключившейся трубкой в руках, а потом сказала: «Это ведь не только я слышала щелчок в самом начале разговора, правда?»

– Не только ты.

– Перед этим ее «опасно» усиливались помехи, и первый слог в слове почти исчезал. А у вас? – сказал Гиль.

– И у нас, – мы смотрели друг на друга и молчали.

«Ничего не слышно» – раздался вдруг голос, уже трудно даже было сказать чей – искаженный, без возраста и пола. Те-

лефон опять смолк.

– Зачем ему это понадобилось, как вы считаете? – спросила, наконец, Смадар.

Ноам подумал, что знает ответ. Пока где-то там, на другом конце невидимой линии был человек, мы строили к нему мост. Каждая история была в нем звеном. А теперь оказалось, что мост упирается в черную, бархатную пустоту, за которой нет ничего, кроме нее самой; настигает ее, подступает все ближе, примыкает вплотную.

* * *

– Давайте зажжем свет, – говорит Ноам, – вечер уже, совсем ничего не видно. Он щелкает выключателем и привычно обводит взглядом комнату.

Хроника ключевых событий

Спустились по ступенькам, мимо бывшей школы, от которой сохранились только кованые ворота, а за ними – двор с тремя сонными собаками, вниз, мимо заброшенного отеля. На балкончике первого этажа, слева от крыльца, дверь покачивалась от ветра. В прошлый раз было не так: все было закрыто, за тусклым от пыли стеклом виднелась пустая комната и там, в противоположной стене, – другое окно, без стекол, а за ним – разросшийся рододендрон и ровное синее небо среди ветвей. Запишем. За отелем резко свернули, шли по сырой тропинке, вдоль стены. Не доходя трех камней до угла здания, остановились, посмотрели по сторонам – на всякий случай, хотя это, конечно, была уже излишняя предосторожность – никто тут не ходил, и никто сюда не заглядывал. На уровне наших коленей в кладке была щель. Мы вытащили оттуда маскировочный мох, за ним – пластиковые пакеты, защиту от сырости. Я просунул руку в открывшееся отверстие – внутренняя сторона камней, чужое и шершавое; каждый раз опасение, что дневник исчез, что пальцы так и не встретят это сопротивление – более мягкое, более теплое, чем то, что вокруг. Дневник был на месте.

– Записывай, – сказал Элик.

Серая кошка исчезла, рыжая появилась; на пустыре за супермаркетом забытый велосипед; на озере к вечеру три

лодки, а не две; в витрине у старой Эльвиры – глиняный глаз.

*** * ***

В тот год взрывы за озером перестали быть слышны. На улицах появились приезжие – гуляли по набережной, фотографировали каменный театр со стертыми дождем сиденьями, уходившую в воду лестницу, крепость из булыжников. Отель – тогда еще не заброшенный, а просто закрытый – покрасили, вымыли окна, посадили цветы. Те паломники приехали ближе к осени. Сначала они вели себя как остальные – ходили босиком вдоль озера, купались в нем в длинных белых тогах, пели, глядя на солнце. Потом кто-то рассказал им про маму. Или, может быть, даже никто и не рассказывал, они сами шли мимо Эльвириной лавки и увидели – среди ракушек, электронных будильников с микки маусами и потемневших неровных монет – мамины вышивки. Закат над озером, легионеры, канарейки, портрет Элика, всегда только он. Мы вернулись из школы и увидели на столе эскиз: пологие холмы, озеро, город с башнями. Прямо на нас надвигались четыре контура. По полям рисунка, обрамляя его, вилась надпись: всадники апокалипсиса.

Я уже и не помнил, когда у мамы было такое хорошее настроение. Паломники заплатили ей задаток, и она купила нам с Эликом подарок – стеклянного человечка. Если смотреть под правильным углом, можно было увидеть все его

внутренности. Мы поили его чаем, а потом пошли с ним на войну. На войне получилось неудачно – человечек выскользнул у меня из рук, упал на асфальт и разбился. Мы трубили над ним в трубы, стреляли из автоматов с разноцветными огнями, а потом похоронили со всеми почестями – собрали все его осколки и бросили в озеро.

Мы возвращались домой, шли, понутив головы. Элик спросил: «Уцелеет ли что-нибудь, когда произойдет этот, как его, апокалипсис, когда всадники промчатся, но не контурами, как сейчас, а такими, какими они будут на готовой вышивке?» Я сказал: «Ничего». Элик стал плакать. Когда мы пришли на нашу улицу, я сказал ему: «Мы что-нибудь придумаем».

Через две недели вышивка была готова. Паломники окунали ее в озеро, а потом кружились с ней на ветру, передавая из рук в руки. Когда на небе появились первые звезды, ткань высохла. Паломники сложили ее и увезли с собой.

Несколько дней спустя по телевизору показывали передачу про специальное зернохранилище. Это был огромный бункер, где-то на Северном полюсе. В него попадали по секретной тропинке, проложенной среди айсбергов и сугробов. Там хранились семена всех существующих на земле растений – от гигантских деревьев и тропических цветов, до крошечной незаметной травинки. Для всех в этом хранилище нашлось место. В передаче сказали, что, если наступит конец света, то растения точно можно будет восстановить – с

помощью этих зерен, – и всё опять будет зеленеть весной, а осенью сбрасывать листья.

Я сказал: «Получается, что и придумывать ничего не надо. Они сохраняют растения, а мы будем сохранять жизнь – для этого не нужно оборудования».

– А как мы будем это делать? – спросил Элик.

Я вспомнил, как годом раньше упал с дерева и ударился головой. Мама повезла меня в больницу. Меня положили в холодную трубу и предупредили, что нельзя двигаться и что за мной обязательно вернутся. В трубе что-то стучало и пощелкивало, а тем временем, как выяснилось позже, на экране в другой комнате появлялись изображения моего мозга, в разрезе, миллиметр за миллиметром. Рассмотрев их вместе, можно было понять про мой мозг все, ничего не упустив. «То же и с жизнью, – объяснил я Элику, – если знать, что в ней меняется, шаг за шагом, слой за слоем, то кто-нибудь когда-нибудь сможет восстановить ее целиком или, во всяком случае, точно узнать, как она была устроена. Мы будем записывать эти изменения, мы будем точными, мы будем вести дневник». Решили записывать наши наблюдения раз в два дня – чтобы новая тетрадь в кожаном переплете подольше не заканчивалась.

На озере ныряльщик в маске; в парке постригли траву; на конверте марка с паровозом; у Йорама пропал голубь.

Однажды, когда мы Эликом в очередной раз шли к наше-

му тайнику, я заметил на земле белый прямоугольник. Я поднял его. Это была фотография – когда-то черно-белая, а теперь покрытая бурыми пятнами. Там было озеро, на его берегу – отель. Я даже разглядел невдалеке наш дом, хоть все и выглядело немного иначе: место казалось почти пустынным, домов было гораздо меньше, чем сейчас. По озерной глади на лыжах скользил небольшой самолет. Я различил иллюминаторы, мне даже показалось, что в одном из них я вижу чье-то лицо. Даже на этом изображении можно было увидеть, как пузырится вода, отскакивая от самолетных лыж. Я жил здесь, но никогда не видел ничего подобного. И мама не видела, она бы нам точно о таком рассказала. И фотографии этой здесь раньше точно не было, ни в одном из известных нам слоев, хотя она, судя по всему, существовала до начала наших измерений. Мы пошли к старой Эльвире. Она вертела снимок в сухих пальцах, потом рассматривала его в лупу – детали самолета и строений выступали наружу, как взбесившееся дрожжевое тесто. Наконец, она сказала, что сама такого не помнит, но ее отец рассказывал, что, когда он был маленьким, на нашем озере, на пути, кажется, из Лондона в Калькутту, сбившись с курса, однажды приводнился самолет: летели блестящие брызги, к растерянным пассажирам спешили разноцветные лодки, потревоженная рыба залегала на дно.

Мы вклеили снимок в тетрадь и вернули ее в тайник, тщательно его закрыв – на два дня, о которых мы пока мало что

знали.

Ежи приходили пить молоко. В киоске на набережной новый продавец. У смоковницы за почтой отломилась ветка. Времена стреляют друг в друга.

Три выстрела

Три выстрела создали нашу семью.

Первый был произведен неподалеку от станции Касиновка Приднепровской железной дороги утром 12 июня 1922 года. Выстрел никому не предназначался, и палец на курке никто не держал – если не считать скелета безымянного старшины (между ребер запали остатки истлевших погон). Скелет лежал в лесополосе между станцией и поселком; в его руке – вернее, в том, что осталось от той руки – был револьвер. Оружие сдетонировало, когда рядом со скелетом рухнул сгнивший сук. Именно в этот момент вдоль лесополосы проезжал мой дед, Яков Ефимович Мельник – он направлялся на станцию, чтобы, препоручив лошадь с повозкой поджидавшему там родственнику, сесть на поезд и уехать в Кременчуг – «На заработки», как объяснял он своим родителям, а на самом деле насовсем. Пуля попала ему в локоть, раздробив сустав. От боли и неожиданности он потерял сознание и свалился на дно повозки. Лошадь какое-то время плелась в сторону станции, но после остановилась и стала щипать траву у обочины. Ближе к вечеру она развернулась и отправилась назад, домой. Так мой дед не уехал тем летом в Кременчуг, не вышел на пахнувший дегтем, дождем и жженой резиной перрон, не отправился на извозчике на Европейскую улицу, где в коммунальной квартире проживал его

дядя, бывший купец второй гильдии, а в тот период истопник в ремесленном училище, не устроился работать сторожем в городскую больницу, и не погиб месяц спустя при ограблении соседней с ней аптеки, не вовремя оказавшись там с поручением купить йод и бинты.

* * *

Третий выстрел был сделан из ракетницы поздним августом 1959 года. Уже перед самой темнотой папа понял, что потерялся. Сначала ему казалось, что произошло недоразумение, что еще немного, и найдется нужная тропинка, что он сейчас на нее выйдет, нужно только еще усилие, лишь внимательней оглядеться, лучше сосредоточиться, и она окажется под ногами. Он бодрился, озирался по сторонам, прошел сквозь еловые заросли – напролом, без дороги, специально, чтобы сменить направление, чтобы не оказаться, в который раз уже, все у того же заброшенного муравейника. Маневр не помог: показавшаяся было под ногами заросшая тропинка снова привела его туда же. Папа сел на поваленное дерево. В набухших бороздках коры медленно двигалась серо-черная гусеница. Каждое существо знало свой маршрут, во всем был смысл – даже в исчезновении муравьев, и там, куда они переместились, солнце отсвечивало от тысяч их гладких тел так ярко, что наблюдатель, если бы вдруг такой оказался, вынужден был бы зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Сумер-

ки сгущались, папины руки и ноги теряли цвет и сливались с темнотой так же послушно, как и все, что было вокруг. Он понял, что не сможет отсюда выбраться. Родители будут его искать, но он не сказал им, что идет в лес. Папа заплакал. Становилось все холоднее. Он уснул.

* * *

Идти было непросто, но Длинный справлялся. Всего-то полбутылки вина, отмечали диплом – голова вроде ясная, но вот координация уже была не очень. К вечеру резко похолодало. Конец августа, но ветер был зимний – колючий и сухой. «Отменили осень», – подумал Длинный. Хорошо, что сообразил взять с собой куртку. Странности начались на подступах к дому. В освещенной витрине кафе «Мороженое» Длинный увидел свое отражение. Не сразу сообразил, в чем дело. Куртка была застегнута на все пуговицы, а еще вчера ведь двух не хватало, приходилось придерживать ее у ворота рукой, чтобы не продувало. Но пуговицы были на месте, факт – черные, гладкие и матово-поблескивающие в свете фонарей. «Надо лучше о себе думать», – сказал Длинный вслух. Он зашагал дальше, замечая на ходу, что плечи стали более расправленными, а походка – пружинистой. Зайдя в свой подъезд, он стал искать в кармане ключ. Это уже давно стало малоприятным ритуалом: подкладка правого кармана прохудилась; Длинный всякий раз забывал об этом и

клял ключ именно туда. Потом приходилось подолгу шарить в дырке рукой – ключ вечно забивался за подкладкой в какой-нибудь скрытый, труднодоступный угол. Он каждый раз не верил, что удастся его найти. Но в этот раз все было иначе. Ключ спокойно дожидался его в правом кармане. Длинный недоверчиво ощупал подкладку: дырки не было. Длинный вставил ключ в замок и попытался его повернуть. Ключ не поддавался. Еще раз. Тот же результат. Длинный вытащил ключ и поднес к глазам. Его ключ должен быть круглый, а этот – трапециевидный, с подпиленными, очевидно, чтобы карманы не рвались, уголками. «Идиот, – Длинный застонал и ударился о дверь лбом, – ты взял чужую куртку». Теперь придется искать хозяина, извиняться. Представляю, как он пытается попасть домой. Удивляется, что карман дырявый. Когда найдет ключ, его будет ждать сюрприз. Еще было непонятно, что предпринять: не ночевать же тут, на лестнице. Мама с бабушкой уехали к тете в Калугу, до следующей недели не вернутся. Длинный сел, прислонившись спиной к двери. Ветер усилился: об оконное стекло на лестничной площадке хлестала тополиная ветка. Потом на нем появились капли дождя. Длинный смотрел, как они заполняют стекло. Потом он встал, поднял воротник куртки, съежился, стараясь уместить в него шею, и вышел из подъезда.



Успел на последнюю электричку. Фонарей по дороге со станции почти не было, но они были и не нужны – путь к Витькиному дому Длинный знал наизусть. Очертания предметов сгладились в темноте: углы стали округлыми, плавные линии растворились в глубоких тенях и стелившемся по земле белесом тумане, и получалось, что то, что он помнил, что существовало в его памяти, всё больше отступая вглубь, рассыпаясь на фрагменты, которые менялись местами, делались прозрачными, сливались с чернотой и возникали снова, теперь сделалось более осязаемым, чем все, что угадывалось вокруг. Именно там проходила дорога. С каждым шагом он все больше убеждался, что совершил ошибку. Не надо было сюда приезжать, не надо. Не зря он с тех пор ни разу тут не был. «Впрочем, и повода не было, – отвечал себе Длинный, – а теперь еще и выхода нет». В мыслях он возвращался на станцию, поднимался на пустой перрон, прыгал, стараясь согреться и обмануть подступавший сон. Ждал первую утреннюю электричку. Вот и Витькин дом. Ключа у Длинного не было, но его и не подразумевалось. Замочная скважина в двери не действовала. Чтобы открыть дом, нужно было просунуть заготовленную жесткую проволоку в специально проделанное отверстие и, ловко ее повернув, подцепить собачку замка. Проволока была на месте, под лестницей.

В доме, куда не вернется хозяин, предметы кажутся более объемными – будто свет отражается от них немного иначе, подчеркивая контуры. Это, наверное, потому, что, когда на них смотришь, не видишь за ними будущих движений их владельца. Все видно, все голо, предметы прочно занимают свои места. Длинный включил свет, выключил, включил опять.

Витька ему тогда все уши прожужжал этой пещерой, говорил, там сталактиты и сталагмиты, она одна такая в наших краях. А где пещера, там и окаменелости, там и море раньше было. «Смотри, не утони там миллионы лет назад!» – смеялся Длинный. Они собирались туда вдвоем, купили карту, и никакого полигона на ней, конечно, не было. Пещеры, правда, тоже не было – только лес, поле и снова лес. Витька уверял, что она там, куда ей деться. Говорил, что разузнал, как до нее добраться. В итоге поехал туда один. У Длинного разболелся зуб, распухла щека, пришлось срочно искать врача. Полигон не был огорожен – чтобы не привлекать внимания. Кое-где, правда, поставили предупреждающие таблички, но они проржавели, краска облезла, вот Витьке ни одна на глаза и не попала. Один-единственный выстрел, даже толком непонятно, из какого оружия. Длинный был на похоронах, но хоронить было некого. Ходили слухи, что в тот день и учений-то не было, что-то сорвалось у них там. Несчастный случай.

Глаза слипались, но лечь спать не хотелось. Не хоте-

лось открывать утром глаза и узнавать этот дом и себя в нем. Длинный решил сварить себе кофе. Зерна и кофемолка хранились в крашенном бежевой масляной краской шкафчике над мойкой. Джезва стояла на плите. Длинный хотел налить в нее воды, но увидел, что изнутри она заросла густой плесенью. Он хотел, было, ее отмыть, но потом вернул на место. Сидел, смотрел перед собой. Потом вспомнил: ракетница. Настоящая сигнальная ракетница в тайнике, все под той же лестницей – Витька ее выменял у речников на самодельный мотороллер и хвастался ему – вот, мол, какая полезная штука. Они хохотали, представляя, в каких ситуациях она может пригодиться.

Длинный вышел на крыльцо. Воздух был почти морозным. Тумана больше не было, но и звезд не было. Плотная черная пустота нависала над ним, обступала, ложилась на плечи. Он отступил на шаг назад и выстрелил вверх. Светящийся шарик взмыл в высоту и, задержавшись, затормозив на лету, жег небо огненными языками. Потом он погас, и Длинный вернулся в дом. Надо было устраиваться на ночлег.

* * *

Папа проснулся оттого, что что-то изменилось. Очень не хотелось открывать глаза и вообще двигаться не хотелось. Он с трудом сел. Темноты больше не было. Вернее, была, но не вокруг, как раньше, а внизу – у его рук и ног, среди

корней деревьев. То, что находилось выше, поблескивало и переливалось, даже муравейник – казалось, что он мерцает и шевелится. Высоко в небе, как казалось, не очень далеко, висел светящийся шарик. Папа попытался подняться – руки и ноги плохо слушались. Тогда он пополз, скользя по жухлой листве, отталкиваясь от веток, царапая застывшими пальцами землю. Потом папе удалось встать на ноги. Он шел, и шарик светил ему, ждал его – за лесом, над крышами домов.

* * *

Существа в их множестве множеств. Сияющие муравьи. Сухие деревья вокруг них загораются и становятся гигантским, во весь мир, шатром. Если вокруг сырая трава, то шатер бархатный и черный. Иногда всё меняется, стоит повернуть голову.

Нужен воздух

Как у нас там сегодня с дыханием, как датчики, как перышки, ребра – как?

Мы стоим на перекрестке – раз, два, три – меняется цвет светофора, к нам приближаются лица, улыбки, темные очки, ресницы, сложенные зонтики, облако шуршания плащей, разговоров, скорых шагов. Двадцать четыре, двадцать пять – мимо движутся машины, как школьные кораблики-оригами, на которых нарисовали окошки и человечков, пятьдесят восемь, пятьдесят девять, минута – снова переключается светофор.

Если долго стоять на месте, можно увидеть, как все начинается, заканчивается и начинается снова. С точки зрения наблюдателя, первыми исчезают случайности – несуразности, несообразности, всякая ерунда. Я нашел на улице кусочек янтаря – он лежал у края мостовой, в сантиметре от водосточной решетки. Задержись я, и его бы смыло дождем, завертело бы в трубах, подземных трассах, гулких туннелях – сколько бы я ни пытался представить, куда они ведут, не получалось: набираешь скорость и упираешься в серый, капельный туман, в котором сначала мерцают светлячки, жужжат флуоресцентные лампы, а потом – почти сразу – ничего нет. Но я успел. Я носил этот янтарь в кармане ветровки, разглядывал разводы, пузырьки, туманности – мне казалось,

достаточно лишь небольшого усилия, и я окажусь внутри; и когда это произойдет, выяснится, что там всё в движении, всё тягучее и одновременно легкое; лучи света не пронзают пространство, а текут в нем, меняют форму, распахиваются, нависают друг над другом гигантскими гребнями, а потом превращаются в равнины, утекают реками, отступают моря-ми, и птицы парят в невесомости, потому что нет точки отсчета, посмотрев на которую можно было бы сказать: «я лечу». Я снова прятал янтарь в карман.

* * *

...Выйдя утром из подъезда и пройдя по своей улице метров пятьдесят, Томер К. вдруг останавливается и оборачивается. Окно соседнего дома украшено переливающейся гирляндой, что странно, так как там уже никто не живет: старуха Маргалит умерла почти год назад, похоже, не оставив наследников. Гирлянда, впрочем, прикреплена снаружи – приклеена скотчем. Томер подходит поближе. Снизу к гирлянде прицеплены аккуратно вырезанные из фольги рыбы скелетики. Они чередуются со сверкающими на солнце чайками, клоунскими колпаками и вертолетом, также аккуратно вырезанным и напоминающим скелет. Томер старается заглянуть в окно, стирает с него ладонью жирную пыль – там ничего не видно. Он пожимает плечами, отряхивает руки и одежду, идет к автобусной остановке. Почему-то идиотская гирлян-

да не идет из головы. Он даже звонит с работы жене, просит посмотреть, на месте ли она. Гирлянда на месте. Голос жены кажется ему немного встревоженным. Вечером он спешит домой, но гирлянды уже нет – кто-то ее сорвал и унес, осталась полоска скотча с приклеившимся к нему обрывком мишуры. Томер медленно идет к своему подъезду. На обочине что-то блестит – вертолет из фольги. Томер поднимает его и несет домой.

...Офир З. вынимает из почтового ящика рекламную брошюру на китайском языке. А может, на японском или на корейском – кто их разберет. Он пожимает плечами и относит ее домой – вместе с газетой «Последние новости» и счетом за воду. На первой странице брошюры – фотография речного лайнера. Сын Офира вырежет ее ножницами и вклеит в секретную тетрадь – к другим кораблям, ракетам и летающему динозавру. Вечером Офир собирается выбросить искромсанный лист бумаги, но вместо этого зачем-то складывает из него самолетик, открывает окно и запускает самолетик в темноту. Окно он тут же захлопывает, так как оттуда веет холодом – началась зима.

... Лена Л. вытаскивает из прозрачного пластикового пакета белое перо. Держать его в руках неприятно: оно слишком гладкое, будто смазанное чем-то невидимым – тайной второй кровью, которая есть у птиц. Непонятно, как оно оказалось среди покупок из супермаркета: ветром его, что ли, туда воткнуло, или кто-то так пошутил. Специфическое, на-

до сказать, у этого человека чувство юмора. Лена разжимает пальцы, перо медленно опускается на пол. «Большая ведь птица», – думает Лена. Она берет салфетку, поднимает ею перо, несет к мусорному ведру, но на полпути останавливается, несколько секунд стоит, задумавшись, а затем выходит из квартиры. Лена направляется к морю. Оно совсем рядом, всего лишь в паре кварталов от ее дома. Выходишь – и соленый ветер встречает тебя, рыбы глубин светят тебе, ракушки ждут, водоросли обнимают. Зажатая в руке салфетка пропиталась Лениным потом. Она подходит к берегу, но если бросить перо отсюда, то ветер вернет его, снова вытолкнет на сушу. Лена идет вдоль морской кромки – одна щека сухая, другая мокрая – и, пройдя несколько десятков метров, сворачивает на мол. Ветер усиливается, брызги попадают ей в глаза. Она идет, зажмурившись, выставив вперед вытянутую руку с белым пером.

...Лю Вэй спешит на работу. Только что рассвело, воздух не успел прогреться – он ежится и засовывает руки глубже в карманы куртки. Лю Вэй всё больше напоминает сам себе настороженную птицу – осанка изменилась, походка и, главное, зрение. Охват приближается к 180 градусам, временами ему кажется, что даже и больше. Надо беречься полиции. Заметив на стенах синие отблески, он успевает спрятаться за дерево. Когда патрульная машина скрывается за поворотом, он позволяет себе немного расслабиться, закуривает. Стряхивая пепел, Лю Вэй замечает, что под ногами – разбухший

в луже бумажный самолет. Бумага изрезана ножницами. Он различает слова: «...вдоль великой долины...».

...Михаэль Р. поднимается на холм и смотрит оттуда на побережье. На север и на юг уходят цепочки огней. Они переплетаются, притягивают к себе более тонкие светящиеся нити, вливаются в огненные пятна – круглые, квадратные или лишенные формы, – соединяют их и тянутся дальше. Михаэлю кажется, будто под ним застывший вихрь, парящий в темноте, над землей. Огни подрагивают в дымке.

* * *

К морю стремятся тысячи воздушных струй – сквозняки из ветхих форточек, неплотно закрытых дверей, проходных дворов, тайных ходов, незамеченных переулков, не встреченных взглядов, забытых недоразумений. Я делаю вдох. Атмосферный фронт надвигается с моря, из-за наших спин. Выдох. В наших легких пузырится кровь. Однажды, гуляя вдоль моря, я нащупал в кармане ветровки дыру, а янтара там больше не было.

Смещение

Ничего не обошлось. Пока спускались с крыши в подъезд, пока мчались вниз по лестнице, перескакивая через ступеньки, отталкиваясь ладонями от стен, холодных и влажных от вечерней росы, была надежда – три этажа, бывает и выше, бывает еще и не так, откуда только не падают люди, и ничего: ушибы, переломы, сотрясение мозга, да все что угодно. С трудом справляясь с дрожью в руках и коленях, делали Заку массаж сердца, старались задержать в нем жизнь, сдавить ее ладонями, нащупать, не пустить – словно огромное, запутавшееся в одежде насекомое. Потом появилась машина «скорой помощи», всполохи перетряхивали небо, подняли над домами пульсирующий красный купол, но Зака уже не было.

Свидетели сходились в показаниях. Следовательно, пожилой полный человек с усталым лицом, зачитывал их Гаю одно за другим, ровно пять документов. Пока читал, несколько раз поправлял очки, и Гай успевал заметить на его переносице узкую зеленую полосу – след от металлической оправы. Потом солнце светило прямо в окно, слепило глаза. Черты человека перед ним постепенно исчезли, остался контур на фоне сияющего стекла. «Можете идти», – сказал следователь.

В воздухе стоял песок. Марево подступало к перилам крыши, скрывая от них другие дома и улицы. Вечернее небо казалось почти оранжевым – словно они находились внутри гигантского апельсина. Казалось, еще немного, еще несколько вдохов и выходов, и воздух кончится. Теплое облако медленно заполнит их легкие. И тогда Гай разбежался и прыгнул на перила. «Здесь ветер!» – крикнул он. То, о чем еще не знали на крыше, уже ощущалось здесь, всего лишь полутора метрами выше. Что-то менялось вдаль, над морем, поднималось над невидимым им горизонтом, приближалось, касалось его лица и волос. Зак подтянулся на перилах, встал на них, балансируя. «Слезайте! – кричали им. – Возвращайтесь!»

– Тут классно! – крикнул Гай. – Правда, Зак?

Что было раньше, ветер или Зак? В протоколах все записано, заверено. В памяти полицейского компьютера тот вечер – вереница нулей и единиц, их порядок не будет нарушен. Ради этого в комнате с кодовым замком на невзрачной двери всегда немного прохладно – круглый год работают кондиционеры, обеспечивая оптимальный температурный режим; на панелях управления круглосуточно горят маленькие разноцветные лампочки. Гай возвращается к тем секундам раз за разом, восстанавливает события. Он помнит, что все произошло немного иначе, но все менее в этом уве-

рен.

Он смеется, приплясывая на перилах. Зак стоит рядом, его руки вытянуты в стороны. Кажется, что все вокруг запаяно невесомым полупрозрачным пластиком. С крыши им кричат, зовут вернуться. Гай оборачивается к Заку, но его нет. И тогда Гай чувствует, что воздух пришел в движение.

* * *

Когда исчезает человек, ветер врывается в создавшуюся брешь. Он дует с такой силой, что там, на оборванных краях этой бреши, происходит смещение, нестыковка – детали событий перемешиваются, – машину заносит на дороге на долю секунды после того, как был сбит пешеход; все еще живы, а случайный выстрел уже был слышен. Те, кто это заметил, часто не помнят об этом.

Зак улыбается ему. Было это или нет? За ветром можно наблюдать – пока хватит зрения. Мчатся облака, обнажая небо с прозрачными звездами. Брешь не затянута, холодный воздух проникает все глубже. Смещение начинается с мелких предметов: в шкафу обнаруживается прежде не виденная чашка (видимо, забыл кто-то из гостей); на лестнице ты натыкаешься на оставленные кем-то книги; с шахматной доски в гостиной одна за другой куда-то исчезают фигуры, и приходится заменять их чем попало – пуговицами, севшими батарейками, клубками разноцветных ниток, хру-

стальной рюмкой с отколовшейся ножкой, камешками. Потом меняются соседи, потом вокруг тебя оказываются другие дома, другие улицы.

Дует ветер, и ты подставляешь ему лицо.

Соединение

Чак вернулся, вернулся, вернулся опять. Звук дверного звонка взрезает барабанные перепонки, резонирует с железнодорожными мостами, мчится в узкой долине флотилией жужжащих беспилотников. Я вскакиваю с кровати, нашариваю тапочки, путаю левый с правым, спешу в прихожую. Зажигается свет, мама выходит из комнаты; Бенжи уже здесь, в пижаме с иголки; бабушка срочно вытирает в квартире пыль, сослепу смахивает со стола пустой стакан. Тот, конечно, падает и разбивается. Звонок не умолкает. Наконец, Бенжи заглядывает в дверной глазок – «Он» – и, немного помедлив, поворачивает в замке ключ.

Получалось, что Бенжи видит Чака дважды. Первый раз – когда еще никто не знает о его чудесном, всем шансам вопреки, спасении; когда никто уже и не думал, когда мысли тех, кто его знал, уже текут над ним, почти его не задевая, не возвращая, не поворачивая к нам лицом. Второй раз – когда распахивается наша дверь. Мне казалось, что если разглядеть того, первого Чака, внимательнее и суметь – мысленно – соединить его со вторым, входящим, закроется брешь, восстановится невидимый нам механизм, и Чаку больше не придется к нам приходить.

Однажды я опередил Бенжи, и заглянул в глазок первым. Чак стоял там – это был тот раз, когда их яхта перестала вы-

ходить на связь где-то в районе Огненной земли. Три месяца поисковых экспедиций, усиленного воздушного патрулирования, журналистских расследований (утверждалось, в частности, что яхта перевозила какой-то сверхсекретный прибор; что некой разведслужбой была перехвачена зашифрованная переписка между неизвестным и одним из пассажиров, с инструкциями, как вывести из строя бортовую систему навигации; и что запасов провизии изначально не могло хватить на запланированное путешествие) – и судно было обнаружено аргентинскими рыбаками, просто выплыло им навстречу ранним утром. Пустой корпус – ни парусов, ни снастей, ни боржурнала – ничего. Только Чак у нас на лестничной клетке. «Как здорово, – говорит, – как здорово дышать полной грудью». Мы провожаем его в большую комнату. Мне кажется, будто я слышу, как с каждым шагом у него хлюпают ботинки, а на улице, меж тем, абсолютно сухо. Уже месяц как не было дождей. Но потом прислушался – это не вода, а просто подошвы такие. Скрип-скрип. Бабушка успела подмести осколки, мама достает из шкафа белую скатерть, разглаживает ее на столе ладонями. Бенжи расставляет на столе высокие чашки из полупрозрачного фарфора. Мы рассаживаемся, Чак сидит напротив меня. Он стал сутулиться, лицо осунулось. Черная водолазка подчеркивает углубившиеся складки у рта, тени под глазами. Я замечаю, что в его волосах что-то запуталось. Засохшие водоросли? Мы потом заваривали с ними чай. В смысле Чак достал такие же из

кармана куртки, из полиэтиленового пакетика. Сказал, это нам гостинец. Чай, кстати, оказался вкусным – солоноватым, медленным, с перламутровым туманом на дне.

Например, после того как Чак пропал на том пожаре – обрушение балок, взрыв газовых баллонов; выжить, казалось бы, невозможно, – чай нам всем понравился гораздо меньше. В тот раз звонок разбудил меня не сразу. Я плыл на пароме, вместе с сотнями других людей, одетых в разноцветные одежды. Я мог слышать голос каждого из них. В мареве над горизонтом уходил под воду огромный солнечный диск. Когда я вышел в прихожую, Чак уже был у нас. Его лицо и руки были в черных разводах. Когда мы сели за стол, на скатерти остались отпечатки его ладоней – они так потом, кстати, и не отстирались, как Бенжи ни пытался и сколько хлорки на них ни лил. Чак распахнул куртку – запахло гарью, разрушенной черной древесиной, речным илом. Он порылся за пазухой и достал бумажный кулек – совсем маленький, скрученный из блокнотного листа. Это была сажа из самого сердца пожара, из прежде (до тушения) наиболее раскаленной его точки, самого эпицентра – эксклюзив. Чай не имел вкуса, обволакивал небо, закладывая горло прозрачным комком, проступал в уголках глаз белым едким пеплом. Мы смотрели на Чака и видели его таким, как если бы он к нам не пришел – разлетевшимся по ветру миллионами черных хлопьев, слившимся с землей, поднявшимся с травой.

Мы были всем, что от Чака осталось, если, конечно, не

считать его самого. Он подходил к двери – в заляпанной глиной военной форме, в марлевой маске, в полимерном костюме ликвидатора, в ветровке с разорванными рукавами, в оранжевом скафандре, в бета-лучах, в боевом оперении. Мы открывали ему, уцелевшему. Мы встречались с ним взглядом и пили с ним чай – с сахарными леденцами, ромашкой, алоэ, океанским песком, льдом астероидов, степной пылью, пылью. Наши лица покрылись морщинами, руки напоминали снимки далеких планет, на которых ищут разум и находят замерзшую воду. В окна влетал ветер, трепал наши волосы, опрокидывал стены. Однажды он не пришел; мы поняли – все получилось.

Вертолет

Вечером опять слышал. С утра ждали шторм, по радио передали предупреждение. Ветер усиливался, гремел жестянками, трепал ворон, бился в опущенные жалюзи. Звук проступил из шума ветра, становился все отчетливей, все громче. Распахнул окно, в лицо – дождевая взвесь, песок, какие-то мошки. Инстинктивно зажмурился. Когда удалось открыть глаза, вертолет уже улетап, лопасти пересиливали ветер, пригибая к земле все, что оказывалось под ними – траву, влажные ветки. Тень скользнула по лицу и теперь удалялась, на запад, в сторону подступающих к городу пологих холмов. Сам вертолет в беззвездном небе было не различить. Конечно, никаких огней, ни даже тусклого света из кабины, и все же он видел, как будто сам был там, их спокойные спины, узкие затылки в летных шлемах, в наушниках приглушенный шум рации – шорохи, переключки, треск эфира.

* * *

Однажды, когда он был совсем маленьким, мама сказала ему: «Видишь, какое небо!» Она смотрела куда-то вверх. Он запрокинул голову и увидел тонкие черные линии, тянущиеся так далеко, что глазами было не уследить. С линий взле-

тали большие птицы и кружили над их головами. Мама держала его за руку. Потом он долго не мог понять, когда при нем говорили: «Небо сегодня пасмурное» или «Смотри, какие облака на небе!» Небо было линиями над его головой. Прошло много времени, пока его взгляд смог вместить то огромное, что нависало над ним – бесцветное, меняющееся каждую секунду, дышащее, касающееся его лица.

Прошло несколько лет. В тот вечер он поехал кататься на велосипеде. Он ехал знакомой дорогой, по окраине дачного поселка. Дома с палисадниками были похожи на куколки гигантских прозрачных бабочек. В это время суток он любил ездить к пруду. Ему нравилось наблюдать, как в тумане над водой продолжает сохраняться день, когда вокруг уже сгустились сумерки. Но в этот раз все было иначе. Противоположный берег пруда был ярко освещен фарами машин. По неподвижной воде, ночным окнам, шиферу крыш металась синие и красные сполохи. Казалось, что в каждом из них крутящееся зеркало и, если успеть заглянуть в него на долю секунды, можно было увидеть обратную сторону этой ночи, и там, с обратной стороны, были не день и не другая ночь, а корни длинных деревьев, спирали огней, шары шестивий, взрывы океанов, парящий песок. На том берегу были люди. Нашивки на их фуражках блестели в свете фар. Чуть поодаль, у кромки пруда лежал человек в плавках. Его тело было вытянутым и застывшим.

Он стоял и смотрел на другой берег. Все, что он видел,

было сочетанием теней и пятен света. Границы предметов растворялись в темноте. Только тело на берегу состояло из четких контуров, ни с чем вокруг не сочетавшихся. Он поехал домой, звеня в велосипедный звонок – просто так, чтобы был рядом какой-то звук. По дороге машины обогнали его, одна за другой. «Смерть – это несовпадение», – думал он, засыпая.

Смерть – это покачивающаяся дверца платяного шкафа в бабушкиной квартире. В зеркале отражается дверь. В двери – люди. Смерть – это блестящие под фонарем перила подземного перехода. Смерть – это три горящих окна из двенадцати. Смерть – это точка несоответствия.

Он подумал, что если вовремя заметить эту точку, то, возможно, смерть удастся отменить. Во всяком случае, там, где ты ее увидел. Один раз, когда в больнице умер его дед, он опоздал, но однажды, в школе, у него это получилось. Он учился в выпускном классе. В тот день, на перемене, он заметил, что у окна в коридоре стоит его одноклассница, Танька Виноградова. Была зима. Танька прислонилась носом к стеклу и внимательно смотрела на улицу. Он стоял у противоположной стены и пытался понять, что ее так заинтересовало, но видел только черные ветки и шар галочьего гнезда на дереве в отдалении. Потом он не мог объяснить, что именно произошло, что было в этом пересечении – веток снаружи, белой рамы, трещины в оконном стекле. Он не увидел эту точку, но почувствовал, как зародилось, завилось пружиной,

стало невыносимым напряжение в ней. Толком не понимая, что делает, он бросился к окну и, схватив Таньку, отпрыгнул в сторону. В следующую секунду рядом с подоконником с потолка рухнул чугунный карниз.

Он стал подолгу гулять. Часами ходил по городу. Старался быть очень внимательным, максимально сосредоточенным, не упускать ни одной детали, ни от чего не отворачиваться. Наступил март: все растекалось, плыло, расплзлось под ногами. Он уже не мог уследить за всеми этими трансформировавшимися углами, искажавшимися поверхностями. Иногда все вокруг менялось до неузнаваемости. Он понимал, что плачет. Однажды ему приснилось, что он на борту вертолета. Рядом с ним был еще один пилот. Вертолет поднимался все выше – над проводами, кронами деревьев, крышами, облаками. Потом он увидел земной шар, но вскоре уже не смог различить его в завихрениях галактик. Раздался треск – как если бы лопасти наткнулись на преграду и вспороли ее; их звук перестал быть слышен. Было непонятно, повис ли вертолет без движения или мчится с огромной скоростью. Он посмотрел в иллюминатор. В каждой точке открывшегося ему необъятного пространства он видел людей, растения, насекомых, птиц, рыб, пресмыкающихся. Их очертания были почти условными. Растения можно было перепутать с птицами, рыб – с людьми. Каждый был хрупкой оболочкой, нанизанной на теплое дыхание, на желание жить. Он обернулся ко второму пилоту, но его кресло было пусто.

По иллюминаторам текли бурые подтеки. Корпус вертолета покрывался ржавчиной, потом она проникла в металл, разъедая его изнутри.

Он почувствовал, что исчезает, и открыл глаза.

К теории некоторых изменений

– Что мы имеем, – Иван Наумович дернул за тесемки; они, вместо того чтобы развязаться, затянулись гладким узлом. Иван Наумович пытался подцепить его, нащупать в нем слабую точку. Папка выскользнула из рук, спикировала на пол. От удара одна из тесемок оторвалась от картонного клапана, папка распахнулась, обнажив содержимое: мертвеца в майке и пижамных штанах в мелкий серый ромбик. Мертвец лежал на асфальте, подложив под щеку левую руку. В отдалении были различимы оштукатуренный фасад дома, шахта подвального этажа, забранная чугуной решеткой, и – в левом углу снимка – палисадник с вторгшейся сбоку в кадр всклокоченной сухой веткой и стена с тем самым прямоугольным пятном, из-за которого, собственно, на место происшествия и был отправлен патруль. Приехав, патруль обнаружил, что происшествий два.

– Как минимум два, – тихо говорил Иван Наумович. Шеф морщился и делал вид, что ничего не слышал, что не было никаких слов Ивана Наумовича – ни звука, ни волны, ни движения.

– Вызов поступил в два часа пятнадцать минут ночи. Сообщалось о краже антикварного предмета. Предметом было зеркало в покрытой светлым лаком деревянной раме с плексигласовыми инкрустациями в виде паровозов, парово-

зов и воздушных шаров. Владелец предмета – сонный пожилой мужчина – зачем-то вывесил его в том самом палисаднике. «Чтобы было у входа в дом что-нибудь красивое», – как он объяснил следствию. Амальгамное покрытие в нескольких местах отслоилось и осыпалось, образовав серые пятна, – Иван Наумович шелестел пергаментными страницами протокола, на которых, с обратной стороны, проступала чернильными разводами подпись потерпевшего. – Более того, нижняя половина зеркала искажала изображение. Потерпевший был уверен, что в таком состоянии оно никому не понадобится. И вот, только пятно на стене и осталось, – ухмыльнулся Иван Наумович.

– Переходите к главному. Что нам известно о погибшем?

– Тело было обнаружено выехавшим по вызову о краже зеркала патрулем. Незадолго до происшествия погибший ел варенье из абрикосов. Признаков насильственной смерти не выявлено. Документов, удостоверяющих личность, на месте преступления – если преступление было – не оказалось. Опрос соседей ничего не дал: никто ничего не слышал, с погибшим незнаком, в последние дни ничего подозрительного на улице не замечал.

«Не замечал, – повторял про себя Иван Наумович, – но должна же быть зацепка, подсказка». Он разглядывал фотографию в увеличительное стекло – мелкие детали заглазывали пространство, перерождали его в себя: трещина на

асфальте, ногти погибшего, перья облаков на крупинчатом небе, оброненная кем-то медная монета, фрагмент пустого гнезда на сухой ветке. «Почему заброшенные гнезда выглядят иссохшими, – думал Иван Наумович, задерживая стекло над переплетением серых прутьев, – будто живое гнездо поливают и в нем проклеваются птицы». «Должна же быть подсказка, зацепка», – он всматривался в тусклые окна; стараясь не нарушить ни одной линии, обводил ногтем распростертое на тротуаре тело.

«Здесь что-то не так, – говорил он, вглядываясь в прямоугольник сохранившегося цвета на стене за палисадником, – и этому должно быть объяснение». Иван Наумович оборачивался, смотрел на контуры балконов, квадраты автобусов, ребристые силуэты светофоров, сгустившееся, растворявшее линии марево там, где лента дороги поднималась на гребнях холмов. Иван Наумович замечал перламутровое крыло небольшой птицы на проезжей части, рядом с тротуаром; терялся в толпе любопытных у машины «скорой помощи»; следовал ступенчатыми линиями высоковольтных проводов; видел расплывшуюся спину хромой старухи, через неравное количество шагов останавливающейся, чтобы восстановить дыхание. На него вылетал велосипедист, сложившийся над рулем огромным беззвучным насекомым. Взгляд велосипедиста, устремленный в точку света где-то далеко впереди, был как натянутая струна, вибрировавшая в унисон

с фасадами домов, корой деревьев, сгустившейся кровью в капиллярах. «Что-то должно здесь быть», – повторял Иван Наумович, и тревога поднималась в нем, проходила сквозь сердце черным дымом, окутывала ветром от движений тысячи крыльев, таких быстрых, что никому и не уследить – только идти, пусть ветер ведет тебя.

* * *

Неизвестного похоронили на кладбище неизвестных. По-терпевший повесил новое зеркало вместо прежнего. Иван Наумович заглядывал туда. Всё было на своих местах, даже старуха-сердечница удалялась вглубь перспективы с той же неравномерностью. Иван Наумович вспомнил одну свою давнюю поездку. Они оказались на развалинах древнего города. Им говорили, что круглой площади, на которой они стояли, не должно было быть: все остальные улицы пересекались под прямыми углами. Но именно в той точке прямой угол был невозможен из-за особенностей ландшафта. Поэтому там и построили круглую площадь: находясь на ней, почти невозможно было заметить отклонение от плана. Получалось, что Иван Наумович стоял в центре оптической уловки. То, что она скрывала, давно разрушилось и скрылось под землей. Пахло нагретыми камнями, хотелось пить. С железнодорожного вокзала недалеко доносились объявления о прибывающих поездах. Над развалинами следовала стая

диких уток – точно на север. Он вспомнил ощущение: одновременное несоответствие всех элементов друг другу и – единственно возможная их гармония. Из окна автобуса еще долго были видны мощные колонны круглой площади, когда-то подпиравшие галерею. “Зеркало, шеф, – говорил Иван Наумович. – На улице, ведущей к месту происшествия, есть сбой в ритме, незаметное глазу искажение линий. Потерпевший укрепляет напротив кривое зеркало – по наитию, природу которого следствию пока не удалось установить. Отражаясь в кривом зеркале, пространство выправляется – недо-разумение, изменившее судьбу многих, кто об этом и не подозревает. Зеркало исчезает, и вот: крыло без птицы, человек без предыстории, и это только то, что нельзя было не заметить. Сколько же таких зеркал вокруг нас, – говорил Иван Наумович, – сколько поверхностей, сфер, осколков, спасительных случайных сочетаний”. Шеф угощал его коньяком из блестящей фляжки.

* * *

В палисаднике на месте происшествия Иван Наумович отражается в зеркале. Он рассматривает орнамент на раме – танцующие журавли и взлетающие самолеты. За его спиной улица уводит к горизонту. Иван Наумович разворачивается и делает шаг. Он догадался о смещении линий, он может ловить этот ритм, двигаться ему в такт, спотыкаться, замечать,

что правая половина тела медленнее левой, скользить вдоль фасадов, улыбаться никуда не смотря, идти на дым, видеть лица – тени в углублениях, волна от тени к тени, внутри тени – ледяное поле, сияют звезды, у обочины ошетинились замерзшие ветки низкорослого растения, глаза выбежавшей навстречу собаки отражают свет, где-то замедляет ход электричка – оборачиваться и смотреть в спины прохожих, распадаться в кронах деревьев, рассыпаться в солнечных бликах, появляться в стеклах, идти внутри ветра. Иван Наумович замечает на стене дома маленький прямоугольник. Подойдя ближе, он видит выцветшее лицо неизвестного. Иван Наумович читает объявление – ушел, имя и фамилия, обращаться по адресу. Солнечный диск касается горизонта, ветер не утихает, он никогда не утихает.

Происшествие с Шаулем Азулаем

Шауля Азулая собрали по кусочкам. В данном случае, это, к сожалению, не было гиперболой. Мы помнили тот страшный вечер, вначале ничего особенного не предвещавший, скорее наоборот, безмятежный. Есть, если оглядываться назад, такие ровные течения, мерные потоки, где легкий бриз, где все в равновесии – и именно они подносят тебя к точке обрушения. Вот Шауль Азулай и обрушился. Облокотился на перила – четвертый этаж новооткрывшейся парковки, полумрак, фосфор линий. Перила, как выяснилось позже, строители забыли прикрепить к бетону. И привет. Поток исчез, вместо него были вспышки: далеко внизу – тускло блестящий под лампами дневного света пол, на нем черный мультипликационный контур с согнутыми в коленках, словно в беге, ногами; серая дверь пожарной лестницы с окошком-иллюминатором, от толчка ударяющаяся ручкой о кафель стены – пробежав два или три пролета, я слышу, как она захлопывается за нами; переливающийся красный полукруг вокруг головы Шауля, его волосы слиплись, лица я не помню. Красное переносится на стены и потолок мигалкой подъехавшей «скорой». Воздух тоже красный. Потом не стало и вспышек: кровать, на ней тело Шауля Азулая в трубках и отверстиях. Датчики отстукивают пульс и другие жизненные показатели. На другом конце коридора кто-то сдавленно

плачет. В капельнице подрагивает капля прозрачной жидкости – никак не сорвется вниз. Шауль Азулай открывает глаза.

* * *

Свет сначала окутывает, потом ослепляет, потом отступает. Подрагивающий белесый диск опускается за горизонт и тут же возникает над ним снова, но вокруг все равно сумерки – серая завеса, словно из миллиарда мечущихся мошек. В воздухе не успевают исчезать их тени, сетка ходов-вен. Тени оборачиваются своей изнанкой, плывут мерцающими точками, сигнальными ракетами гаснут. Усилие ведет насквозь, как в классиках, когда сверкающая на солнце шайба пересекает нужную черту вместо того, чтобы остановиться на ней, и оказывается в просторном квадрате.

* * *

Когда Шауль выписывался из больницы, все – врачи, медсестры, санитарки – вышли его провожать. Шауль шел по коридору к входной двери, за которой его ждала жизнь – как волна, которая приходит на опустевшую береговую полосу и забирает с собой в море все, что там находилось. Это было чудо: с такими травмами не спасаются. А Шауль был жив. Вот он идет, вот он улыбается, немного натянуто, потому что

сил пока что мало, но теперь-то они будут прибывать. «Ты жив», – это было первое, что он услышал, открыв глаза. И с тех пор это слово звучало вокруг него как эхо – жив, жив, жив. После, когда я встречал Шауля, «жив» всплывало у меня в голове раньше его имени.

* * *

В тот день я увидел Шауля в городе. Я стоял на проспекте Намира и ждал, пока сигнал светофора на пешеходном переходе сменится на зеленый. Был один из последних дней лета, когда в повисшем над улицами рыжеватом мареве вдруг ощущаются неровные нити прохлады. Я не знаю, когда Шауль вышел на дорогу. Мотоциклист объехал его на полной скорости, едва не врезавшись в белый микроавтобус. Водители сигналили Шаулю, но он, казалось, не замечал того, что происходило вокруг. Шел быстро и ровно.

В следующий раз мы увидели Шауля в новостях. Недалеко от его дома произошла перестрелка – два дилера не поделили клиентов. По телевизору показали съемку камеры наблюдения, укрепленной в нескольких метрах от места происшествия. Изображение было зернистым, мелкие движения скрадывались, и поэтому казалось, что почти всё застыло – ветки на ветру, плывшее над улицей облако, всё это остановилось. Двигались лишь человеческие фигурки и цифры

хронометража внизу экрана. Двое стреляли друг в друга, один из стрелявших находился так близко к видеокамере, что в момент, когда он нажал на курок, изображение дернулось и на долю секунды исчезло – картинка стала ослепительно белой. Потом всё вернулось, но стрельба продолжалась. Застигнутые врасплох прохожие прижимались к фасадам зданий, кто-то лежал на земле, закрыв руками голову. И тогда на перекрестке появилась знакомая фигура. Кажется, мы уже что-то предчувствовали, о чем-то догадывались, потому что узнали Шауля Азулая за доли секунды до того, как подрагивающие линии и тени сложились в контур – идущего человека. Его движения были одновременно стремительны и безмятежны. От неожиданности стрелявшие опустили пистолеты, но затем перестрелка возобновилась. Шауль уходил по улице. Я смотрел на его спину, пока она не слилась с рябью экрана, не растворилась в ней, не распалась на серые пульсировавшие точки.

Тогда мне показалось, что я понимаю, что происходит. Тот поток, который принес Шауля к катастрофе, к точке обрушения на бетон, сам не срывался в эту воронку. Он возобновлялся прямо за ней, и Шаулю каким-то невероятным образом удалось снова в нем оказаться. Поток мчал его, и на это раз Шауль уже знал, чувствовал его упругость, понимал силу ветра, который толкал в спину, но с ног не сбивал и вообще, похоже, не менял своей скорости.

Шауля видели купавшимся в зимнем море. Для февраля

было не так уж холодно, но волны в тот день были особенно высокими, нависали над берегом, обрушивались на него с таким звуком, как если бы на садовом дереве одновременно шелестела бы тысяча серых птиц, а затем выплескивались на набережную. В одной из таких волн на берег выплыл Шауль Азулай. Как ни в чем не бывало он надел сухую одежду, оставленную на скамейке аккуратной стопкой – пока Шауль к ней ни притронулся, никто ее и не замечал, – и, насвистывая, скрылся в одном из уводящих от моря проулков.

Я беспокоился за Шауля и однажды решился сказать ему, что понимаю про поток, который несет его прочь от воронки. С другой стороны, есть еще и удача, статистика, а он уже однажды остался жив вопреки всем шансам. Мы сидели в одной из забегаловок недалеко от промзоны, где тогда работал Шауль. День был жарким. На вылинявшей желтой футболке Шауля расплзлись пятна пота. На столике перед нами стояли стеклянные стаканы с черным кофе. Кажется, это был первый хамсин той весной. Столешница была затянута песчаной пылью. Шауль время от времени проводил по ней ладонью, обнажая потемневший от времени и осадков пластик, но спустя несколько минут прореха затягивалась. Он молчал, а потом сказал мне: «Все так и есть, но наоборот – я умер. Только, – говорит, – я еще не знаю, что со всем этим делать». У меня перехватило горло. Получалось, что мы все это время принимали желаемое за действительное. Падение с высоты не прошло для Шауля даром, и теперь вот – безу-

мие, расстройство тончайших механизмов восприятия; даже, казалось бы, не утрата связи с действительностью, а лишь изменение знака этой связи с плюса на минус. И ты уже совершенно один, тень.

– Открыл глаза, но уверенности не было, – продолжал Шауль, – как определить, умер ты или нет? Как знать наверняка? – он пожал плечами. – Но что-то определенно изменилось – соединение линий; взаимоотражение поверхностей; то, как все выглядит. Словно все ровно освещено, молочно-матовый такой свет, а его источника нигде не видно, как головой ни крути.

«Зрительный нерв пострадал», – подумал я.

– А потом я вдруг понял, в чем дело. И один из побочных эффектов – неуязвимость. Что еще со мной может случиться, сам посуди.

Поначалу я пытался переубедить его, но попробуй докажи кому-нибудь, что он не умер. Как это нередко бывает с сумасшедшими, Шауль тут же находил неоспоримые контраргументы для любых моих доводов. Получалось, что неуязвимость оставалась единственной ниточкой, которая все-таки связывала его с нашим миром. За ней тоже проходил поток. А кто стоял под парусом; кто балансировал на гребне волны; куда уводили скрытые под течением пропасти, к какому источнику света тянулись водоросли – всё это оказывалось не так уж важно. И я понял, что Шауль ни в коем случае не должен узнать о том, что остался жив.

Имя Шауля продолжало мелькать в новостях. Вот он в Центральной Африке, в пораженной чумой деревне. Радиус отчуждения – тридцать километров. Военные патрули по периметру. Умиравшие тянут к нему шеи, распахивают рты, и Шауль Азулай закапывает в каждый из них исцеляющее лекарство: маслянистые янтарные капли. Вот он, не суетясь, заходит в охваченный пожаром дом и выводит оттуда целую семью: мать, дочь и задохнувшуюся одноглазую бабушку. Он даже не накинул на себя защитное одеяло. Каким-то образом ему и это сходит с рук. Вот он по поддельному паспорту едет в Дубай и, обманув бдительность охраны, забирается на шпиль Бурдж-Халифы. Любого другого разорвал бы в клочья постоянно бушующий на такой высоте ветер, но на Азулае специальный костюм из особо прочной синтетики, тайная разработка NASA. Никто не знает, куда ему пришлось проникнуть, и кем прикинуться, чтобы ее раздобыть. Шауль вытягивает руки в стороны – под мышками у него перепонки. Он летит вниз, стремительно набирая скорость, с каждой секундой все больше превращаясь в смертоносный снаряд, пока воздушное течение не подхватывает его и, крутанув как щепку, несет дальше, к кромке пустыни. Из пузырячатой ткани выстреливают тысячи сияющих парашютиков, и Шауль Азулай плавно опускается на крышу одного из приземистых каменных строений. Вот он, натренировав мышцы по специальной программе, впивается в трещины отвесной скалы подушечками пальцев и висит на ней гигантским черным пау-

ком – еле заметной точкой, неразличимой в навалившейся на нее сверху темноте, – если смотреть из ущелья.

Однажды я подумал, что, наверное, ошибался: подвергая себя опасности, Шауль Азулай искал возможность вернуться к нам, в мир живых. Ведь у воронки – две точки выхода и, соответственно, возможны два направления движения. Так он, во всяком случае, мог рассуждать. Поэтому я почти не расстроился, когда до меня дошли известия о его смерти – нелепой, от несчастного случая, которого вполне можно было избежать. Пропать увела Шауля, воздух подхватил его, стопами были ему звезды, глазами – долины.

Орден черной утки

Постепенно я научилась их замечать: черные наклейки – то матово поблескивавшие, совсем новые, будто кто-то из наших прилепил их за минуту до того, как я проходила мимо; то истлевшие, замытые дождями, стертые случайными прикосновениями. Часто их контуры уже, скорее, угадывались, чем были видны, но я узнавала их, мысленно дорисовывала – на бетонных столбах, на дверях подъездов, на пластиковых оконных переплетах, на цепкой штукатурке конструктивистских развалюх. И не только наклейки, кстати – были и сделанные по шаблону рисунки на асфальте, были дурацкие граффити на воротах детского сада: наша черная утка пляшет среди каких-то птичек, бабочек, офигевших медвежат, с тощим Дональдом Даком на заднем плане. Одна утка лежала на обочине и была мертвой, со свалявшимися влажными перьями над клювом и с затянутыми сетчатой поволокой глазами. Вообще-то они здесь не водятся, и я думала – это случайность, сбой в системах навигации, при котором отказывают не только способность ориентироваться на большой высоте и помнить маршрут, но и умение отличать движущиеся объекты от застывших, непроницаемые от бесплотных, дальние от надвинувшихся. Думала, совпадение – кому пришло бы в голову оставлять такой знак, в первую очередь – ненадежный, расслаивающийся и распадающийся. Таким знаком можно

было отметить только очень короткое дело, а наше занятие требовало наблюдений, сопоставлений, анализа, сживания с существом, которого больше не было (т. е. с умершим). А потом я заметила на двери подъезда, буквально в паре метров от птицы, отпечатанное в типографии объявление – семья Эльдада О. сообщает о его безвременной кончине, ровная рамка. Было еще светло, но, подняв голову, я увидела на третьем этаже залитый огнями балкон. Свет ламп сливался с сумерками, растворялся в воздухе, ключьями разлетался в порывах задувшего с моря ветра. Из квартиры доносились голоса – всхлипы, пение, шепот. Я вошла в подъезд, поднялась по лестнице, толкнула незапертую дверь. В комнате толпились люди, на подушках у окна сидела вдова – неподвижная, с прямой спиной и узловатыми гладкими пальцами. В пути Эльдад всегда ждал, пока они проедут мимо виноградников. Завидев их, не переставал смотреть в окно, не отрывался, пока последний их ряд не скрывался за поворотом дороги. Странная потребность, о которой он никогда не рассказывал, только однажды ей обмолвился, но потом убедил себя, что она не расслышала его слова. Я припарковалась на обочине шоссе и несколько минут просто смотрела на виноградник в окно – взгляд Эльдада. Я открыла дверцу, вышла и поднялась на пологий холм. Дул сухой ветер, солнце было затянуто песчаной пылью. Лозы были скрюченными, ветвистыми. Мощные корни впивались в каменистую землю. Сухие листья касались моих волос. Я стояла и смотрела на шос-

се. Мимо проносились серебристые машины и исчезали за поворотом.

Почему именно черная утка? Однажды она прилетела к одному из нас со страшной вестью. В смысле человек читал письмо о том, что в аварии у него погиб друг, и на его балкон обрушилась эта птица – черная с плоским клювом, перепончатыми лапами и белым лбом. Сломала крыло, ударилась об пол головой. Откуда взялась, опять же непонятно. Видимо, тоже какой-то сбой. Он тогда повез ее в больницу, куда свозят диких зверей со всей страны. В очереди вместе с ними были змеи, ящерицы, нервная гиена с гнилой лапой, кузнечики, олени, хищные рыбы. Все обошлось, и из больницы к нему потом регулярно приходили смски о том, что черная утка хорошо освоилась в новых условиях. Как бы там ни было, черная утка летит не от тебя, а к тебе. Внезапная смерть разрывает линии мира, нарушает их переплетение. Черные птицы пробиваются сквозь эту ткань. Бывает, одну из линий все еще можно восстановить. Надо только понять, какую; надо увидеть знак и настроить взгляд. Однажды мне пришлось поехать в другой город, чтобы забраться там в овраг – слава Waze, хотя бы не пришлось его долго искать – и обнаружить в нем красный резиновый мяч, уже вылинявший от дождей и полусдувшийся. Мяч надо было забросить на балкон в стоявшем над оврагом доме, что я и сделала с четвертой попытки. В другой раз я украла папку с секретными документами и утопила ее в озере. Однажды я несколько дней выжидала,

пока восьмилетняя девочка выйдет одна в пустой двор и я смогу, оставшись незамеченной, запустить в нее бумажный самолетик. Однажды я совершила убийство. Когда я пришла на место преступления, оно уже успело произойти – так тоже бывает. Я скрылась, не оставив следов.

Иногда я вытягиваю руки вперед и смотрю на свои пальцы. Стаи черных птиц срываются с них и разлетаются в разные стороны света. Я пытаюсь проследить взглядом хотя бы за некоторыми из этих птиц. Сначала мне это удастся, но вскоре они превращаются в черные точки и исчезают на небосводе. Потом темнеет, и там появляются звезды. Очертив невидимый мне круг, птицы снова летят к земле.

Вещи Фриды

Фриду собирали с миру по нитке. Приносили накрахмаленные носовые платки, шелковые кофточки, туфли-лодочки, кашне из Кашмира: такое всегда согреет. Вера принесла кожаную папку с клацающей застежкой, Зоя – сережки с двумя выпавшими кристалликами. Коленька тогда притащил бабушкину каракулевую шубу. Пока нёс, чувствовал, как комочки меха под его ладонями пропитываются потом и проседают. Ветхая подкладка, потрескивая, расплзалась; пальцы проваливались внутрь. Всё Фридино сгрузили в чемодан. Обитая дерматином крышка не закрывалась, перекашивалась, наружу выбивалось что-то пестрое, гладкое на ощупь, сетчатое. Когда, наконец, удалось ее захлопнуть и закрыть замки, Вера предложила пока что поставить чемодан в прихожей. Так и поступили. Игра во Фриду началась. Первым оказался Коленька, и он, конечно, был великолепен во всех этих фетровых шляпах, болоньевых плащах, чешуйчатых перчатках, лисьих воротниках.

* * *

Фрида приходит в один и тот же день недели – в этом всё дело. Все наготове, у всех напряжены спины, лица вполобо-

рота к двери. Но не тут-то было. Надо прийти так, чтобы именно тебя не ждали. Кто так пришел, тот и выиграл. Фрида звонит в дверь. «Сейчас, сейчас, – это Вера, как не узнать ее голос. – Открываем, открываем! – что-то выстреливает, наверное, это Коленька открыл шампанское, – Жека, мы знаем, кто это! Кто ходил загадочно, улыбался невпопад? Жека, это ты!» Дверь распахивается, на лестничной клетке полумрак, но, конечно же, все сразу узнают Жеку, как ее не узнать. Она заходит в прихожую, все смеются и осыпают ее конфетти, а потом, раз про нее угадали, она должна поделиться воспоминанием. То, что Жека расскажет, отдадут Фриде. На это и идет игра.

... Странная пластмассовая игрушка – сгорбленное существо с длинной улыбающейся мордой. Наверное, морской конек. «Он так улыбается, будто ему известно все на свете, – думает Жека, – а может, ничего ему неизвестно, это просто такая мимика». Она поднимает морского конька с асфальта. Пластмасса, судя по всему, раньше была красной, но сейчас она выцвела. К спине зверька прилипли мокрые потемневшие листья. Жека стряхивает их рукавом куртки и кладет игрушку в карман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.